

Книга четвёртая
«Великий магистерий
Артура Ди»

Часть первая «Война»

Глава 1

*За четыре года до событий,
произошедших в предыдущей книге*

В самом начале мая, в первый понедельник по окончании Дня святых жен-мироносиц, над Замоскворечьем с утра висела огромная свинцовая туча. Ближе к полудню непомерно разбухшая, словно бурдюк, переполненный водой, она уже накрывала собой Кремль с Китай-городом и половину Белого города в сторону Трубы, Тверской и Кисловки. Едва не вспарывая себя о крест колокольни Ивана Великого, туча грозилась порваться и залить землю потоками обильного весеннего проливня, раз в два года обязательно превращавшего московские улицы и переулки в полноводные реки, по которым ко всему привычные горожане передвигались исключительно на лодках и плотках, сколоченных из разоренного тына.

Казалось, очередной порухи городу не избежать, но к началу четвертой стражи, так и не расстаравшись ни каплей дождя, серая мгла рассеялась под мощным напором ветра, порывисто



высветлившего небосвод до состояния горней лазури. Большая часть горожан, настороженно ожидавших урагана, облегченно выдохнула и с легкой душой оставила в прошлом свои несбывшиеся опасения, нисколько не задумываясь о тех, кого минувшее ненастье на короткое время заставило испытывать куда более сильные переживания, удерживая их на тонкой грани между надеждой и отчаянием. Для них все закончилось слишком быстро. Чудо не свершилось. Чайание уступило место унынию.

На старом пустыре между Болотом и Царицыным лугом, окруженном дровяными складами и торговыми рядами с одной стороны и конской площадкой с кузницами с другой, стояли три просмоленных столба, плотно обложенных вязанками сухих дров. Тут же у подола лобного места стояло два клепаных сопца¹, стянутых черемуховыми обручами. В них зловеще поблескивала черная, маслянистая густá², горячая вода, заблаговременно доставленная специальным обозом из далекой Ухты.

Любознательный московский люд из Чертольских и Замоскворечных слобод и черных сотен в нетерпении толпился вокруг эшафота, ожидая загодя обещанное мрачное зрелище. Всем было любопытно! Что ни говори, а не часто на Руси сжигали преступников. Такое представление

¹ Бочка в 122 литра.

² Нефть.

стоило посмотреть собственными глазами, чтобы потом не пожалеть об упущенной возможности.

Последний раз горел такой костер в Москве семь лет назад, когда в стельку пьяный польский пан Блинский ни с того ни с сего открыл пальбу по иконе Богородицы «у Сретенских ворот». Москвичи на расправу всегда были скоры. Отрубили они на плахе обе руки незадачливого шляхтича и прибили их к стене под образом святой Марии, а самого охальника сожгли в пепел на площади. Но то был папист и враг, совершивший преступление, а это свои, православные, чья вина была не понятна никому из собравшихся.

Впрочем, сегодня народу на Болотной было куда меньше ожидаемого. Очевидно, непогода распугала бóльшую часть тех, кто собирался поглазеть на редкое зрелище. К моменту казни на площади остались только самые стойкие празднотлюбцы и баклушники, терпения и свободного времени у которых всегда было с избытком.

Трескуче и зычно громыхнули полковые барабаны, толпа вздрогнула и замерла. Из распахнутых настежь ворот дровяного склада купца гостиной сотни Алмаза Иванова два стрельца в светло-серых кафтанах с малиновым подбоем полка стрелецкого головы Ерофея Полтева вывели троих приговоренных, связанных одной веревкой. Несчастные были в грязном исподнем и сильно избиты. Двое первых шли молча, шаркая босыми ногами по сухой земле, вдрызг разбитой коле-

сами тяжелогруженных телег. Они шли, не глядя по сторонам. Один был погружен в себя, второй безумен. Третий, самый молодой и тщедушный, с огромным багрово-сизым кровоподтеком под левым глазом, наоборот, затравленно озираясь, заискивающим взглядом побитого пса искал глазами добрые, сострадательные лица.

— Мужики, не надо бы... а? — тревожно лепетал он, с трудом шевеля разбитыми губами. — Грешно ведь! Нет за нами вины. Мы только книги церковные переписывали да старые ошибки справляли. Почто огнем казните, благоверные? Не по-людски! Помилосердствуйте... а?

Шедший следом за осужденными стрелецкий сотник Григорий Черемисинов больно ткнул говорившего тяжелой тростью между лопаток.

— Заткни пасть, вор! Еретикам с людьми разговаривать не положено.

Получив сильный удар палкой по спине, несчастный еще больше ссутулился, вобрав голову в плечи, и взглянул на собравшихся вокруг лобного места с невыразимой тоской и укоризной. Видя этот взгляд, люди в толпе смущенно покашливали в кулак и отводили взгляды в сторону. Сердобольные женщины сокрушенно покачивали головами. Мужики, досадливо хмурясь, чесали затылки, сомневаясь в заслуженности столь сурового наказания для безобидных справщиков. Отсутствие справедливости на Руси всегда осознавалось людьми много острее, чем

общественное неравенство. Когда справедливым судьей назывался не Бог, а некое кем-то сочиненное право, простого человека это не устраивало и побуждало сомневаться, если не в самом Законе, то в законниках.

— Что же их, сердешных, так и пожгут? — растерянно спросила стоявшего рядом соседа Ульянка, вдова тюремного сторожа Гришки Пантелеева, имевшая торговую лавку в живорыбном ряду у Замоскворецких ворот.

Сосед, певчий дьяк Благовещенского собора Иван Ищеин, потер влажные ладони и боязливо оглянулся по сторонам.

— Один Господь ведает, что было! — произнес он заговорщицким полусшепотом. — Вроде трудились переписчики с государева соизволения, под руководством просвещенного архимандрита Дионисия, а получилась ересь!

— Как так?

— Да не знаю я! То ли добавили чего лишнего, то ли, наоборот, выкинули что-то важное! За то и пострадали!

Ульянка зацокала языком, удивленно выпучив глаза на всезнающего певчего.

— По закону разве за книжки костром карать? Грех ведь!

Иван Ищеин невесело ухмыльнулся в жидкую бороденку.

— В народе как говорят? Не будь закона, не стало б и греха!

— Не знаете — не говорите! — влез в разговор пузатый, как венгерский хряк, гостиной сотни, овощного ряда торговый человек Евстафий Семенов.

Он окинул притихших собеседников презрительным взглядом.

— Третьего дня отец Еремей с Николы Чудотворца на Китае на проповеди сказывал, что хотели еретики огонь в государстве нашем извести!

— Весь? — в ужасе ахнула Ульянка.

— Знамо дело! — снисходительно улыбнулся Евстафий. — А так-то оно зачем?

— Так-то оно, конечно! — охотно согласилась Ульянка, кивнув головой, и благоразумно замолчала, вернув свой интерес происходящему на лобном месте.

Между тем осужденных книжников расторопные помощники палача уже привязали к позорным столбам прочным воровским узлом. Молодой подьячий Судного приказа, держа в руках развернутый столбец, гнусавым голосом зачитывал все провинности и окаянства приговоренных еретиков, нимало не заботясь тем обстоятельством, что его тихий голос едва ли был слышен дальше первых рядов людей, собравшихся на Болотной.

Напряженное предвкушение жуткой развязки, казалось, выпарило часть воздуха над площадью, сделав его густым и тягучим. Многим стало тяжело дышать. Были и те, кто падал в обморок.

Младший из справщиков уже не молил о пощаде. Он стоял, прочно привязанный к столбу, и, закрыв глаза, беззвучно плакал. Слезы текли по его щекам и капали на отворот рваной, перепачканной грязью сорочки. Он больше не надеялся. Надежда вместе с последними силами оставила его у столба. Второй приговоренный, невысокий, крепкий мужчина лет сорока, видимо тронувшийся рассудком еще до дня казни, оказался счастливей своих товарищей. Он все время улыбался, с детским любопытством наблюдая за приготовлениями палачей, и мурлыкал под нос старинную колыбельную, заменяя давно забытые слова обычным мычанием.

И только третий из несчастных горемык, благообразный старик с тонкими, почти иконописными чертами лица, в этот трагический момент своей жизни сохранил ясность ума и твердость духа. Когда палач, проверив узлы веревки, стягивающей тело, издевательски спросил: «Не жмет?» — он, не удостоив ехидного ката даже взглядом презрения, бросил в толпу зычным, хорошо поставленным голосом:

— Православные! Ныне, стало быть, уходим мы с братьями к Свету! Молитесь за нас, грешных, ибо смертью огненной положено нам начало покаяния нашего!

Старик повернул голову к своим притихшим товарищам. Глаза его светились какой-то осо-

бой, не поддающейся описанию силой и уверенностью.

— Братья, Свет Христов вразумляет даже врагов! Не след нам бояться! Убивающий тело бессмертную душу погубить не в силах!

Сотник Черемисинов, морщась, словно кислицу надкусил, тихим голосом распорядился, глядя палачу в глаза:

— Чего ждешь? Начинай!

— Так это... — развел руками палач. — Последнее слово вроде?

— Отступникам не полагается. Жги!

Дважды сотнику повторять не пришлось. Шустрые подручные ката-живореза без милосердия облили приговоренных нефтью, зачерпнутой из бочек, стоявших неподалеку от места казни. Старик замолчал, захлебнувшись на полуслове. Поток маслянистой черной жидкости накрыл его с головой. Следом на каждого из приговоренных, для верности, вылили еще по паре ведер «горючей воды». Теперь все было готово.

— Жги! — повторил Черемисинов, махнув тростью.

— Слава Богу за все! — успел еще выкрикнуть старик до того, как горящий факел, пущенный умелой рукой в самую середину облитой нефтью пленницы, заставил его замолчать навсегда. С громким хлопком нефть вспыхнула, обдав первые ряды зрителей обжигающим ветром. С ужающим воем и грохотом пламя живых костров

взметнулось под самые небеса. В этом шуме потонули вопли казненных и крики оробевших зевак. Впрочем, и то и другое скоро закончилось. Люди, уstraшенные дьявольским зрелищем, молча наблюдали, как горят, потрескивая, три кострища, источая вокруг себя черную копоть и тошнотворный запах горелого человеческого мяса.

На Царицыном лугу, немного в стороне от Болота, окруженная челядью из числа светских и духовных захребетников и приживал, наблюдала за казнью мать царя Михаила Романова, Великая государыня инокиня Марфа Ивановна. Ее грубое, словно из сухого пня вырубленное лицо не выражало ровным счетом никаких сильных чувств или особых переживаний при виде догорающих костров на месте казни. Очевидно, что расправа над безобидными переписчиками оставила ее равнодушной. Дождавшись, когда прогоревшие столбы рухнули в пылающие угли дровяных поленниц, она бросила строгий взгляд через плечо, внимательно осмотрев толпу приспешников. Увидев в первых рядах главу Приказа Большого дворца Бориса Михайловича Салтыкова, она резко спросила его:

— Борис, где твой брат?

— Не знаю, тетушка, я ему не нянька! — спесиво надув губы, ответил надменный царедворец, слегка обиженный вопросом, не относящимся лично к нему.

— Найти! Он мне нужен! — не обращая внимания на обиду племянника, сухо бросила инокиня Марфа и отвернулась, больше не произнося ни слова.

Суета за ее спиной говорила, что челядинцы восприняли ее распоряжение со всей расторопностью и проворством. Искали начальника Аптекарского приказа недолго, хорошо зная пристрастия и слабости младшего из Салтыковых. Время казни Михаил провел в трактире и теперь легкой рысцей семенил обратно, на ходу дожевывая знаменитую московскую кулебяку, которую в харчевых рядах на Балчуге пекли лучше всех в городе.

— Звала, матушка-государыня? Вот он я, тут! — усердно поклонился Салтыков широкой спине царской матери.

Инокиня Марфа бросила на Михаила косой взгляд и поманила к себе указательным пальцем.

— Видел? — кивнула она на костер.

— Ага! — ослабился царский кравчий. — Надеюсь, теперь, тетушка, ты довольна стала?

Марфа нахмурилась.

— Смеешься? Мальки попались, а большая рыба сквозь сеть проскользнула. Мне нужен главный смутьян. Хочу увидеть там архимандрита Дионисия Троицкого.

Она еще раз кивнула на лобное место, около которого уже почти не осталось зрителей, кроме служилых людей, следивших за тем, чтобы огонь вдруг не перекинулся на склады и лавки дрова-

ного торго. Михаил понимающе ухмыльнулся и развел руками:

— Дионисий сейчас любимец народа! Люди считают, что без его личного мужества и пастырского слова не сдержал бы Троицкий монастырь 16-месячную польскую осаду!

— Храбрость и людская милость не оправдывают ересь, а усугубляют ее! Игнатий Богоносец говорил, что если человек злым учением растлевает веру Божию, то пойдет тот человек в огонь неугасимый, равно как и тот, кто слушал его!

Инокиня Марфа цепкими пальцами схватила Салтыкова за подбородок и с силой притянула к себе.

— Ты, Мишка, не крути! Вся ересь правщиков началась с твоего попустительства, вот теперь сам и распутывай! Мне нужна голова Дионисия!

Марфа разжала пальцы, отпуская Салтыкова, и нарочито медленным шагом направилась к возкам местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Крутицкого Ионы, который, хоть и не должен был этого делать, вышел из саней навстречу царственной инокине. Марфа, подойдя к митрополиту и получив его благословение, тихим голосом проронила, глядя на морщинистую руку архипастыря, сжимавшую наперсный крест:

— Владыко, созывай церковный Собор!

— Сие можно! — ответил митрополит, едва заметно кивнув головой, и закрыл глаза.

Глава 2

Два месяца спустя, накануне праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, через Сретенские ворота Белого города въезжала в Москву пустая подвода, запряженная лохматым желто-пегим битюгом. На широкой скрепе передка восседали два крепких монаха, оба с виду возрастом изрядно за сорок. Молодой стрелец из полка Никиты Бестужева, охранявшего Сретенские ворота, постукивая по бортам обушком своего бердыша, с подозрением заглянул внутрь телеги.

— Кто такие?

— Троице-Сергиевой обители чернецы Феона и Афанасий, — ответил за двоих седой как лунь монах с лицом, сильно посеченным саблей и картечью. — На Патриарший двор едем, — добавил он, упреждая вопрос охранника.

— На церковный Собор, значит? — сообразил бдительный стрелец и тут же спохватился: — А бумага есть? Без подорожной вас в Кремль не пустят.

— Есть бумага, служивый, — едва заметно улыбнулся в бороду второй монах и достал из походной сумы, висевшей у него на бедре, свиток с болтавшейся на бечевке черной сургучовой печатью.

— Не мне, — поспешно покачал головой стрелец, видимо скрывая свою малограмотность. — Ему давай, — показал он пальцем на подошедшего к ним стрелецкого урядника.

Усатый, как старый налим, начальник караула, опираясь на бесполезное и нелюбимое стрельцами копьё, с треском раскрыл свиток, встряхнув его одним движением руки. Быстро пробежав глазами подорожную, он молча протянул письмо обратно и, повернувшись к караулу, небрежно распорядился:

— Можно! Пушай едут.

Стрельцы за его спиной, преисполненные безразличия к происходящему, привычными движениями легко растащили устрашающего вида деревянные рогатки, освобождая проезд телеге.

— Отчего такие строгости, десятник? — спросил отец Феона, скручивая проезжую грамоту и убирая ее в поясную суму. — Нешто враг уже у ворот стоит?

Удивленный урядник только руками развел:

— Да вы чего, честные отцы, не ведаете, что творится? Королевуса Владислава под Можайском третий месяц едва сдерживаем, а тут еще гетман Сагайдачный со своими черкасами в спи-

ну ударил. На южных рубежах наших нет. Все на поляков ушли, вот он и куражится! Второго дня Ливны взял. Сегодня Елец! Так дальше пойдет — скоро здесь будет. Сторожиться надо!

Он огляделся вокруг и сердито шлепнул рыжего битюга по лохматому крупу.

— Некогда мне с вами лясы точить. Проезжай уже, не задерживай!

Смирный мерин, получив звонкий шлепок крепкой ладони, послушно тронулся вперед, грохоча железными подковами по деревянному настилу.

— Спаси Христос, служивый! — произнес отец Феона, чинно кивнув хмурому уряднику, и глубоко задумался, взглянув на знакомые очертания Сретенского монастыря, возникшие сразу за воротами Белого города.

Два года прошло, как покинул Москву, оставив государеву службу, бывший начальник Земского приказа и Приказа Большого прихода, воевода и царский стряпчий Григорий Федорович Образцов, а вместо него появился в Свято-Троицкой Сергиевой лавре новый инок Феона.

Тогда казалось, что время к тому было самое подходящее. Брань и смута, дотла разорившие и поставившие крепкое государство на край пропасти, собрав с народа извечно причитавшийся с него кровавый оброк, наконец канули в Лету. Беды и несчастья крамольных лет начали забываться под бременем мирных забот. Война ви-

делась делом далеким, бередящим душу, но не вселявшим былого ужаса, словно остывающий запах дыма от костра на месте некогда дотла спаленной избы. Люди полагали, что, если Мир за время смуты не сгорел в геенне огненной, не рухнул в преисподнюю, значит, у Господа к выжившим имелся счет иной, нежели к умершим! Это давало надежду!

Молодой царь, сознавая слабость не Богом, а людьми вверенного ему государства и шаткость своего положения, не желал до поры браниться с беспокойными соседями из-за утерянных странной территорий, предпочитая иметь на границах плохой мир, нежели добрую ссору. Казалось, ему это неплохо удавалось. Со шведами велись вполне успешные переговоры о вечном мире. Персия, Крым и Турция, связанные постоянными войнами и внутренними распрями, предпочитали в это время иметь в лице России доброго соседа. Голландцы не на шутку сцепились с англичанами за исключительное право считаться лучшими друзьями и торговыми партнерами «московитов», да и с прочими европейскими державами, с коими Москва была в сношениях, продолжалось доброе согласие. И только с Речью Посполитой боевые столкновения не затихали и без объявленной войны. Лихие кавалерийские наезды на литовской границе, грабежи и опустошение с большим жесточением охотно совершали обе стороны. Царь Михаил Романов, в государственных

делах отличавшийся предельной осторожностью и исключительным благоразумием, не мог, а скорее не желал, проявлять их в отношении короля Сигизмунда III и его сына Владислава, считавшегося в Польше прямым соперником Михаила на московский престол.

Камнем преткновения здесь являлся Смоленск, захваченный Речью Посполитой еще во времена смуты. Смириться с этим русским людям казалось немыслимым, но и ляхам, в свою очередь, всегда было что припомнить схизматам-москалям. Удивительно ли случилось, что в то время, когда царь велел служилому князю Михаилу Тинбаеву и воеводе Никите Лихареву с большим войском идти в Литовскую землю воевать города Сурож, Велиж и Витебск, сейм в Варшаве тогда же принял предложение короля открыть большую войну с Россией под предводительством королевского сына Владислава. Цель войны была очевидной: расширить владения Польши за счет Москвы, не дожидаясь возрождения ее былой мощи, а предлога искать им нужды не было. Владислав силою оружия должен был завоевать московский престол, на который потерял права после воцарения на нем Михаила Романова.

Впрочем, на сей раз большая война у поляков не задалась. Год они готовились к походу, а когда, наконец, выступили из Варшавы, войскам потребовалось еще полгода, чтобы добраться до

первых пограничных русских городов. Несмотря на столь впечатляющую медлительность, на первых порах удача все же улыбалась им. Города Дорогобуж и Вязьма сдались без боя, по-холуйски встретив врага хлебом-солью, что вселило в поляков надежду на повторение триумфа Лжедмитрия I, сумевшего десятью годами ранее склонить на свою сторону подавляющее большинство русских войск. Однако времена изменились. И поляки, и русские были уже другими. Колесо фортуны, хотя и со скрипом, разворачивалось в противоположную от державы гордых Пястов сторону.

Следующие одиннадцать месяцев армия Владислава безуспешно штурмовала небольшой, но хорошо укрепленный Можайск, прикрывавший путь к Москве. Потерпев ряд болезненных поражений, потеряв ряд прославленных военачальников и в придачу всю артиллерию, поляки так и не взяли неприступную крепость. Знающие люди по обе стороны противостояния откровенно заявляли, что вся авантюра с походом скоро закончится заключением обычного в таких случаях перемирия, с бесславным уходом войск Владислава в Литву на зимние квартиры.

Так думал и отец Феона, в тиши своей кельи между молитвой и послушанием не переставший следить за событиями, происходящими за стенами монастыря. Но слова, сказанные только что у Сретенских ворот стрелецким

урядником, серьезно встревожили его. Вступление в войну запорожцев гетмана Сагайдачного серьезно меняло расклад в этой войне. Вряд ли русским войскам в сложившейся обстановке хватило бы сил и средств противостоять врагу, напавшему с двух сторон. Это значило только одно. Долгая битва за Можайск окончена. Началась новая — за Москву. В этом старый урядник был прав. Не прав он был в другом. Не гетмана Сагайдачного с его шайкой головорезов стоило ожидать под стенами города. Такое предприятие легкой и малочисленной казацкой кавалерии не по силам. Ждать следовало армию Владислава. Эта мысль весьма обеспокоила бывшего воеводу!

— О чем задумался, отец Феона? — вернул монаха в действительность бодрый голос отца Афанасия.

Феона вздрогнул, бросил рассеянный взгляд на ветхие дома и глухие заборы Казенной улицы и произнес, задумчиво подбирая нужные слова:

— Понимаешь, друг мой, два года меня здесь не было, а вернулся, и словно ничего не изменилось! Все то же самое, только хлопот прибавилось.

— Большой город — большие хлопоты! — беспечно пожал плечами Афанасий и, скосив глаза в какую-то точку между ушей рыжего битюга, вдруг изменился в лице. — Тпррру! Стой! Стой ты, анафема рыжая!

Он резко натянул поводья на себя с такой силой, что испуганный конь трусливо присел на задние ноги, с шумом испражнился под себя и остановился как вкопанный. Столь грубая остановка едва не скинула монахов с облучка. Феона, пытаясь удержаться, едва не вывихнул себе запястье, застряв между левым тяжом телеги и оглоблей, в то время как Афанасий, выронив вожжи, сильно приложился лбом к лошадиному крупу, получив при этом хлесткий удар грязным хвостом, смахнувшим с головы его выдавшую виды скуфейку.

— Отец Афанасий, ты никак искалечить нас собрался? — удивился Феона, потирая ушибленную руку.

Вместо ответа Афанасий, вытирая рукавом испачканное лицо, кивнул куда-то в сторону передних копыт лошади. Отец Феона обернулся и увидел странную картину. На обочине дороги головой на проезжую часть лежал сильно избитый мужчина в синей поповской однорядке. Но не это было в нем самое странное. Избитыми попами на Москве удивить было сложно. В народе бытовало мнение, что ежели снять с головы священника скуфейку¹, то он вроде как и не священник, а значит, лупи его, если заслужил, со всем своим удовольствием. Однако тот, что сей-

¹ Повседневный головной убор православного духовенства и монахов.

час лежал под копытами рыжего мерина, удивлял другим. В рукава его однорядки была продета огромная упряжная оглобля от саней полторы сажени в длину и почти двух вершков в обхвате. Если бы Афанасий вовремя не заметил, то колеса телеги проехали бы как раз по голове бедняги. Что бы после этого с ним было, можно даже не гадать!

— Кто же тебя так, раб Божий?

Монахи поспешно освободили несчастного от его насильственной ноши и напоили родниковой водой из луженой жестяной баклаги, лежавшей на дне телеги, после чего случилось уж совсем странное. Избитый поднялся на ноги, оправил одежду, зло сверкнул на своих спасителей неприязненным взглядом, мрачно сплюнул себе под ноги и быстро исчез за ближайшим плетнем.

— Вот тебе раз! — изумился Афанасий. — А спаси Христос?

— Кхе-кхе... — послышался за спиной старческий смешок, более похожий на болезненный кашель.

У крайней избы на пересечении Казенной и Евпаловки, невзирая на жаркий полдень, сидел на завалинке древний дед в линялом собачьем малахае, козьем тулупе и стоптанных валенках с высокими голенищами.

— Не удивляйтесь, братья, — прошамкал он беззубым ртом, — то поп Ерофей из храма Харитона Исповедника. Уж больно святой отец до

баб охотливый! Пылкий аки порох! Вот мужики его и пожучили, чтобы впредь о чужих женах помыслов блудливых в голове не держал. А вы куда собрались-то? — без всякого перехода спросил старик, внимательно вглядываясь в монахов.

— Да так, дедушка, по делам едем, прощай на добром слове! — ответил отец Афанасий, забираясь в телегу и распрямя в руках вожжи.

Дед понимающе кивнул.

— И вам не чахнуть! Только на Ильинку не суйтесь, время потеряете. Там горшечный ряд весь рогатинами перегорожен. Надо через Никольские ворота до Старого Земского приказа ехать. Да ты знаешь, — неожиданно произнес он с хитрым прищуром, взглянув на отца Феону.

— Знает тебя? — спросил Афанасий, шелкнув поводьями по лошадиному крупу. — А ну пошел, рыжий бес! — добавил он смирному битюгу, неспешно тронувшемуся в путь.

Вместо ответа отец Феона, обратив отрешенный взгляд на приземистые избы Лубянской слободы, произнес, почесывая кончик носа:

— Как думаешь, отец Афанасий, отчего столь сурово казнят архимандрита нашего, Дионисия? Разве заслужил святой старец подобную к себе несправедливость от тех, кто еще недавно превозносил его до небес?

— Эх, отец Феона, — замотал лохматой головой Афанасий, — да если бы не икономом Алек-

сандр, ничего вообще не было! Это он, ирод ока-
янный, со своим родичем Лаврентием Булатни-
ковым напаскудил, точно знаю! Все наши беды
от него!

— Булатниковы при дворе люди влиятельные,
они царя закадычные приятели!

— То-то и оно! — раздраженно шелкнул по-
водьями Афанасий. — А Дионисий поймал их на
подложных земельных купчих. Они деревеньки
монастырские со всеми тяглецами и живностью
как пустые дворы продавали, разницу между
собой делили. Верно говорю, их рук дело! Для
таких клевета что воздух!

Отец Феона пригладил рукой опрятную боро-
ду и несогласно покачал головой:

— Нет, Афанасий, думаю, ошибаешься ты, од-
ной мести отца-эконома, чтобы заварить такую
кашу, недостаточно. За этим стоят люди более
значительные и опасные. А вот кто они и зачем
это делают, надеюсь, узнаем мы на Соборе?

Афанасий не стал возражать, только с сомне-
нием пожал плечами. Больше они не разгова-
ривали, молча наблюдая, казалось, никогда не
прекращающуюся суету многолюдного Китай-
города. Так благополучно миновали они печат-
ный двор, Греческий и Спасский монастыри, но
на подъезде к Казанскому собору и торговым
рядам приключилось с ними еще одно странное
происшествие. С Певчей улицы на полном ходу
вылетела посольская карета, запряженная сцеп-

ленной цугом¹ четверкой «свейских» рысаков. Карета стремительно неслась наперерез повозке монахов, и только в последний момент пучеглазый кучер, огрев длинным форейторским кнутом медлительного битюга, смог увернуть свой экипаж в сторону, лишь по касательной задев ступицами кованых колес борта монастырской телеги.

Телегу швырнуло в сторону, едва не опрокинув набок. Тяжелую карету тоже тряхнуло, но лишь едва. Из открытого окна выглянуло спесивое лицо иноземца в фиолетовом камзоле, прикрывавшего от поднятой пыли лицо кружевным платком.

— What the fucking hell!² — недовольно произнес надменный господин, и карета, не останавливаясь, унесла его дальше в сторону Воскресенских ворот и Каменного моста на Неглинке. Но прежде чем карета успела завернуть за угол Казанского собора, крышка багажного рундука, прикрепленного на запятках экипажа, неожиданно отворилась, явив изумленным монахам голову самого настоящего африканского пигмея. Голова испуганно осмотрелась и мгновенно нырнула обратно.

Открыв рот, Афанасий поспешно сотворил крестное знамение.

¹ Гуськом или в две-три пары одна за другой.

² Что за чертовщина! (англ.)



— Ущипни меня, отец Феона! Уж не черта ли я сейчас видел?

Феона кивнул и охотно ущипнул приятеля за плечо.

— Ой! — воскликнул Афанасий. — Больно!

— Это не черт, — усмехнулся Феона. — Это мавр. Только очень маленький. Раньше я таких не видел! Интересно, зачем англичанин его прячет?

Глава 3

В проездные ворота государева двора, занимавшего в Кремле большую часть Боровицкого холма, тяжеловесной походкой отставного рейтара вошла мать царя, инокиня Марфа, сопровождаемая толпой наглых челядинцев и несгибаемых захребетников. Стрельцы стремянного полка, несшие службу по охране дворца, молча, с опаской сторонились, уступая дорогу беспокойной орде царской матери. Марфа при дворе не раз показывала свой крутой нрав, и лишний раз попасть под ее тяжелую длань желающие давно перевелись. С первого взгляда было ясно, что находилась царская мать в настроении отнюдь не благостном. Хмурое лицо, низко опущенные брови и тревожно трепещущие, как у дозорной собаки, одутловатые щеки были тому прямым свидетельством.

Поднявшись на мраморные ступени Нарядного крыльца, Марфа обернулась и, величаво подняв руку, унизанную драгоценными перстнями, холодно произнесла:

— Тут ждите! Вам там не место!

Натасканная челядь замерла на пороге Теремного дворца, послушно склонившись в поясном поклоне. Марфа желчно ухмыльнулась.

Бряцая на ходу серебряными подковками сафьяновых сапожек, она прошла в услужливо распахнутые перед ней двери и в несколько шагов миновала сени, охраняемые двумя десятками вооруженных стрельцов полка Ерофея Полтева, из предосторожности державших свои пищали на боевом взводе, отчего в сенях всегда стоял стойкий запах жженой пеньки от тлеющих ружейных фитилей. Сам же стрелецкий голова вместе с дюжиной ближних к царю царедворцев находился в передней, терпеливо ожидая выхода государя для ежедневного отчета и получения новых указаний.

Удостоив находившихся в приемной вельмож лишь легким кивком головы, мать царя стремительно приблизилась к резным дверям престольной, служившей Михаилу рабочим кабинетом. Тут, к ее неудовольствию, произошла маленькая заминка. Царский постельничий, Константин Михайлович Михайлов, широко раскинув руки, бросился наперерез, имея намерение задержать ее, но осекся, встретив тяжелый, как кистень, взгляд Марфы.

— Михайлов, не дури, ты меня знаешь!

— Государыня-матушка, Марфа Ивановна! — заныл постельничий, в нерешительности топчась у дверей. — Нельзя... не велено!

— Иди прочь, Костюшка, меня это не касается.

Михайлов, безвольно опустив руки по швам, послушно отступил в сторону.

— Ну? — добавила Марфа, сверля недобрый взглядом замешкавшихся стрельцов.

Опамятовав, те поспешно отворили тяжелые двухстворчатые двери, пропуская грозную инокиню в царскую престольную. Следом за ней двери с глухим стуком затворились, и в передней воцарилось неловкое молчание.

Михаил встретил мать, сидя за рабочим столом, с тонко отточенным гусиным пером в руках. Оторвавшись от чтения длинного столбца, извлеченного из серебряного ковчега, своими очертаниями напоминающего небольшой котелок на трех гнутых ножках, он с удивлением посмотрел на Марфу поверх читаемого им свитка.

— Матушка?

Сколь ни являлось его удивление искренним, Марфа распознала в нем растерянность и смущение, вызванные очевидной поспешностью, с которой государь занял свое место за рабочим столом. Даже столбец он держал к себе оборотной стороной, на которой кроме «скреп» думного дьяка на склейках листов иного текста не имелось.

— Ты один, Миша? — спросила Марфа, с подозрением озираясь по сторонам.

— Один, конечно! — ответил сын и суетливо поднялся с кресла навстречу матери.

Марфа перекрестила его склоненную голову, после чего троекратно поцеловала в обе щеки и крепко обняла.

— Не ждал меня, вижу? — насмешливо скривив губы, спросила инокиня, все еще осматривая престольную.

— Не ждал! — честно признался Михаил. — Что-то случилось?

— Поговорить хочу.

— О чем, матушка?

— О невесте твоей, Машке Хлоповой!

Расправив полы широкого летника, Марфа села в резное итальянское кресло напротив челобитного окна. Под ее весом крепкое кресло жалобно заскрипело. Михаил нахмурился и, скрестив руки на груди, присел на край письменного стола.

— Так! Ну и чем она теперь тебе не угодила?

— Да все тем же, Миша! Своенравна девка, заносчива. Почтения к старшим не проявляет! Подарками моими пренебрегает! Лишний раз на поклон сходить к свекровушке — ниже своего достоинства считает! Не должна государева невеста вести себя подобно! Грех в том великий вижу, и грех этот на каждом, кто потакает ей в скверне самовольства и непослушания.

— Да откуда слова такие жестокие, маменька? — болезненно поморщился Михаил. — Маша

добрая девушка и к тебе испытывает почти дочернее чувство любви и трепета. Сам не раз от нее это слышал!

Марфа возмущенно закатила глаза и с силой ударила иноческим посохом об пол.

— Не лги матери! У меня свои глаза и уши имеются! Говорю тебе, истинно — не пара она нам! С тяжким бременем венца царского худародной не справиться. Откажись, пока не поздно!

Молодой царь недовольно скривил лицо и собрался было возразить, но прежде чем он успел это сделать, из опочивальни донесся подозрительный шум, словно что-то тяжелое упало на пол.

Марфа тревожно обернулась на звук и стремительно поднялась с кресла.

— Кто там у тебя?

— Говорю же, никого! — в смятении бросился Михаил наперерез матери, но было уже поздно.

Марфа распахнула дверь в спальню одним крепким ударом ладони и заглянула внутрь. Царская опочивальня представляла собой небольшую комнату, посередине которой стояла высокая резная кровать под роскошным балдахином. Стены и своды помещения были отделаны драгоценным атласом и тисненными цветными кожами. В спальне имелось всего три окна, с вставленными в них разноцветными слюдяными оконницами. Окна были приоткрыты, отчего сквозняк

свободно гулял по комнате, развевая бархатный полог балдахина, который, видимо, и повалил на пол медный светец, теперь лежавший у основания кровати. Людей в комнате не было.

— Ну, убедилась? — обиженно засопел Михаил из-за спины матери.

Вместо ответа Марфа шумно повела чувствительным носом и, видимо, уловила нечто, заставившее ее раздраженно прикусить губу. Потемнев лицом и нахмутив брови, она пронзила сына колючим взглядом.

— Хочу напомнить, Мишенька, что пока отец томится в польском пленении, я отвечаю за твои помыслы и поступки!

Царь озадаченно почесал затылок и, не ища ссоры, ответил, тщательно подбирая надлежащие обстоятельству слова. Получилось, впрочем, все равно слишком резко и непривычно для него.

— Матушка, я почитаю твою самоотверженность и заботу обо мне, но я давно не подлеток!¹ Я полновластный государь державы Российской и могу сам принимать решения там, где считаю это уместным для себя!

Неожиданно получив столь решительную отповедь, Марфа покраснела от гнева и досады, но, сдержав ярость, обернулась и пошла к выходу. Однако в дверях опочивальни задержалась на мгновение.

¹ Ребенок подросткового возраста.